

Квартира №2 и ее окрестности

Автор:

Ольга Вельчинская

Квартира №2 и ее окрестности

Ольга Алексеевна Вельчинская

Люди, которые всегда со мной

Книга московской художницы Ольги Вельчинской «Квартира №2 и ее окрестности» – это собрание живых, окрашенных теплым юмором текстов о Москве и ее жителях, населявших город в разные годы XX века, большей частью окрестности Пречистенки, Остоженки, Арбата, Чистых прудов. Это рассказы о семье и друзьях, о городских традициях и о московских реалиях, памятных старым москвичам, об укладе коммунального быта, о соседях разных призывов и о смешных и грустных историях, приключавшихся с ними.

Семейная археография так или иначе связана с именами писателя Сергея Зяицкого, поэтов Анны Ахматовой и Бориса Пастернака, художников Леонида Пастернака и Николая Крымова, а также отца автора – художника Алексея Айзенмана.

В мемуарные очерки органично вплетены исторические документы – свидетельства эпохи, обнаруженные автором в семейном архиве. Книга может быть интересна широкому кругу читателей разных поколений.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Ольга Вельчинская

Квартира № 2 и ее окрестности

© Ольга Вельчинская, текст, иллюстрации, 2022

© ООО «Издательство АСТ», 2022

* * *

Моим родителям —

Алексею и Изольде

Квартира № 2 и ее окрестности

Предыстория с участием писателя Заяицкого

Ощущая себя Карабасом-Барабасом с игрушечным театриком в кармане, ничего не могу поделать с потребностью выпустить на подмостки персонажей, с которыми семья наша соседствовала долгие годы, с желанием перебрать мозаики судеб и житейских историй. Быт, временами похожий на бред, то и дело всплывает на поверхность памяти. Поток всякой всячины пронесся по коридору нашей квартиры, сквозь комнаты, комнатки, кухню и закутки. Облики и повадки соседей прошлого должны были бы забыться, память о них – стереться в прах, испариться. Но произошло обратное – каждый обратился знаком, стал символом, именем нарицательным, навеки поселился в той комнате, которая, долго ли, коротко ли, была его пристанищем. Да и в конце концов, память ведь тоже нуждается в вентиляции. Короче говоря, графомания как профилактика зловещей болезни Альцгеймера.

Итак, предпринятая в ожидании моего рождения попытка создать сепаратное жизненное пространство для нашей маленькой семьи – отделить

девятиметровый кусочек жилплощади от общей комнаты и прорубить в закутке этом окно – привела к череде заявлений и веренице резолюций. Вот парочка документов эпохи:

СССР

Управление МВД по Московской области

Управление Ордена

Трудового Красного Знамени

Пожарной охраны

гор. Москвы

ИНСПЕКЦИЯ Фрунзенского района

14 июля 1947 г.

№ 1198

Гражданину Айзенману С. Б.

Мансуровский пер. д. 5 кв. 2

На Ваше заявление от 10/VII-47 г.

Инспекция Пожарной Охраны МВД Фрунзенского Района гор. Москвы сообщает, что против установки беспустотной оштукатуренной с двух сторон перегородки в вашей комнате с 20 % остеклением в верхней части ее, согласно представленного плана, возражений не имеет, при условии устройства в этой перегородке двери и согласования с Межведомственной комиссией при Фрунзенском Райисполкоме.

Начальник ИПО МВД

Фрунзенского района г. Москвы

Капитан Никульченко

Инспектор ст. лейтенант Чистов

В Межведомственную Комиссию

при Исполкоме Фрунзенского р-на

гор. Москвы

Заявление

Прошу разрешить мне произвести в одной из двух занимаемых моей семьей комнат следующую перестройку в интересах удобного размещения пяти членов моей семьи с учетом пола и возраста.

I. В комнате размером 5.40 ? 3.40 установить легкую перегородку, не доходящую до потолка (для нормальной циркуляции теплого и холодного воздуха) и с запасным проходом в перегородке на случай пожара.

II. В отделяемой перегородкой части комнаты, лишаящейся большей части дневного света, пробить в кирпичной стене, примыкающей к пустырю соседнего владения № 7, окно шириной 1 м и высотой 2 метра.

Заключения соответствующих организаций, копия поэтажного плана и схематический план при сем же.

Айзенман С. Б. 30-VII-1947

Малая жилищная эпопея завершилась успешно, а по тем временам триумфально, и к тому же в сжатые сроки. И в результате я родилась в комнате с окном, а теперь, полвека спустя, держу в руках тщательно вычерченный на пожелтевшем кусочке кальки план нашей квартиры.

Все комнаты, комнатки и каморки дотошно пронумерованы. Чертежница по фамилии Фелькир вычертила поэтажный план нашей квартиры 19 июля 1947 года, за полгода до моего рождения и через двадцать девять лет после того, как по совету бабушкиной гимназической подруги Наташи Заяицкой дедушка снял это темное, сырое и неудобное жилье в Мансуровском переулке. Кстати говоря, прежде чем бригадирша Аграфена Мансурова наградила переулок своей фамилией, он назывался Мосальским, а еще раньше – Талызиным (тоже по фамилиям домовладельцев).

Итак, весной 1918 года наши – бабушка, дедушка и четырехлетняя тетушка – поселились в Мансуровском переулке. Время и само по себе было страшноватое, а тут еще ожидалось рождение второго ребенка, моего отца. Вышвырнутые из-под прежнего своего крова, растерявшиеся в обрушившейся и распавшейся жизни, дедушка с бабушкой согласились на первый попавшийся вариант, лишь бы было где переждать Катастрофу, и, как только все утрясется, подыскать более пристойное жилье. А вышло так, что четырехлетняя тетушка, весной 1918 года водворившаяся в новой квартире, прожила в ней последующие семьдесят пять лет своей жизни.

Дом был небольшой, трехэтажный, выстроенный из красного кирпича, оштукатуренного уже в более поздние времена, с признаками скромного, без претензий, модерна. Из переулка квартира наша представляла собой бельэтаж, а со стороны двора – глубоко вросший в землю первый. Прежде жил здесь Наташин брат, журналист и писатель Сергей Сергеевич Заяицкий. Повести Заяицкого «Жизнеописание Лососинова», «Баклажаны» и отменные его рассказы открылись лишь в конце 80-х и оказались изумительными.

Выяснилось, что человек этот был веселым мистификатором, щеголем и горбуном. Носил фраки, цилиндры, перчатки и кружевные жабо, одним словом, поражал воображение. Нередко, шествуя по Пречистенке в сторону Пречистенских ворот, встречал Сергей Сергеевич кого-нибудь, чересчур откровенно изумлявшегося его экзотическому облику. Не ленясь Сергей Сергеевич садился в трамвай, шедший в обратном направлении, проезжал остановку и снова направлялся к Пречистенским воротам. Бестактный прохожий вновь встречал странного горбуна и изумлялся вдвойне. Заяицкий снова садился в трамвай и проделывал фокус с самого начала, вводя встречных в транс. Неутомимому Сергею Сергеевичу шутка неизменно удавалась, потому что до Октябрьского переворота трамваи по Пречистенке ходили регулярно.

Кто-то жил здесь и до Заяицкого (дом-то, судя по первому слою газет под обоями, выстроили в XIX веке), но остался навсегда неизвестным, так что биографию квартиры придется начинать с Сергея Сергеевича. Жизнеописание же комнат – с крошечной каморки, обозначенной в поэтажном плане номером четыре.

В 20-е годы семейство наше «уплотнили» (отняли две комнаты). От соседей «первого призыва» остался скромный след, нечто вроде легчайшего вздоха. Гражданки Глухова и Талалаева обратились в жилтоварищество с заявлением «об открытии комнат (кладовок), занятых гр. С. Б. Айзенманом», каковые, в соответствии с постановлением Жил. Т-ва от 15 апреля 1927 года, и распахнулись перед ними, наподобие двух Сезамов (первый площадью 3 кв. м 18 см, второй – 3 кв. м 58 см).

Восьмиметровая же комнатуха № 4 все еще оставалась в распоряжении нашей семьи. В ней поселилась приехавшая из Казани любимая бабушкина племянница Верочка Самойлова (потом-то Верочка стала ученым-метеорологом и прогнозировала погоду во времена челюскинской эпопеи, да так замечательно, что ее наградили орденом Трудового Красного Знамени, а Верочкин портрет напечатали на обложке журнала «Огонек»).

Но в те давние годы соседи, до глубины души возмущенные проживанием в квартире человека без постоянной московской прописки, постановили: Верочку выселить, а комнатенку отнять. Чтоб неповадно было нарушать паспортный режим! И дедушка получил предписание:

Гр-ну Айзенману С. Б.

Правление Ж/Т-ва предлагает Вам освободить комнату № 4,

согласно решения Губсуда.

Предправления Ж/Т-ва Тихомиров 13/II-30 года

Такие разные Хрюковы

И в комнате № 4 поселился с женой и маленьким сыном Аркаша Хрюков. Волна коллективизации, от которой, бросив родную деревню, Аркашино семейство кинулось спасаться в город, прибила его к нашему Мансуровскому берегу. Но вскоре Аркашина жена умерла, и пришлось бедняге выписывать из деревни новую.

Говорили, будто Аркашиного сыночка, имени которого история не сохранила, новая жена Дуся то ли уморила, то ли куда-то подбросила с помощью «француженки» Марьи Степановны с третьего этажа. За небольшую мзду Марья Степановна оказывала соседям по дому мелкие услуги.

Я родилась в апогее Дусиной силы и славы и, едва научившись ходить, сразу же стала рваться в гости к Хрюковым. Дело в том, что я всей душой привязалась к глиняному петушку-копилке, жившему на высоком хрюковском комодe под сенью вазы с красными бумажными розами и кукарекавшему хозяйскими голосами в тот самый миг, когда я опускала в щель копейку. В ажиотаже я бежала к маме за следующей монеткой, а алчные Хрюковы страсть мою поощряли – кукарекали и кукарекали. Копеек мама не жалела, но огорчалась, когда я возвращалась от Хрюковых без очередного носового платка, любовно обвязанного мамой изящным кружевом. У Хрюковых было тесно, весело, духовито, радио не выключалось никогда, работало от гимна до гимна.

Романтической героиней моего дошкольного детства стала Аля Хрюкова, красивая, как киноактриса, кудрявая и дружелюбная. Аля была хороша и в натуральном виде, но продолжала стремиться к совершенству – слишком черно красила брови, чересчур ярко румянила щеки и, даже на мой восхищенный взгляд, выглядела немного вульгарно. Аля пользовалась бешеным успехом в окрестных дворах и переулках. Ежевечерние ее свидания с бесчисленными поклонниками происходили на площадке между первым и вторым этажом, возле полуциркульного лестничного окна. Квартира чутко прислушивалась к звукам, доносившимся с площадки, и по-своему их трактовала. На площадке у окна происходило загадочное, и Алины свидания комментировались образно и беспощадно. Все это придавало Але дополнительную прелесть и делало ее изюминкой нашей квартиры. Аля Хрюкова стала причиной единственного моего конфликта с бабушкой.

Осенью 1953 года в квартире появился телефон. Мы с папой вернулись откуда-то, а на стене висит новенький черный аппарат, и у него даже есть номер – Гб-16-99. В марте умер Сталин, в июне покончили с Берией, к власти пришла тройца

– Хрущев, Булганин и Маленков. Маленков, толстяк, казавшийся добродушным (что вовсе не соответствовало действительности), вскоре подевался куда-то, а Булганин с Хрущевым ненадолго поселились по соседству с нами, в Еропкинском переулке. Высокие каменные ограды их особняков располагались наискосок от наших деревянных дворовых ворот. И как только Хрущев с Булганиным водворились в новых своих резиденциях, во всех квартирах всех окрестных домов в одночасье поставили телефоны. Счастливым этим событием мы были обязаны какой-то тайной необходимости.

Алины поклонники звонили и днем и ночью, но к телефону звали не Алю, а Мурку. Алино прозвище, хорошо известное по популярной песенно-уголовной эпопее, соответствующим образом характеризовало в глазах соседей и саму Алю, и ее приятелей. Однажды Аля попросила меня подойти к телефону и сказать, что Мурки нет дома. Я выполнила Алино поручение с блеском, совсем как взрослая, и очень этим гордилась. Еще бы, когда к пятилетнему человеку обращаются с такой взрослой просьбой, он просто не может не чувствовать себя польщенным.

Внезапно в коридоре появилась бабушка. Грузная, почти слепая, бабушка обыкновенно сидела в кресле, вставала с него редко и с большим трудом. Но в этот раз она едва ли не выскочила из комнаты с небывалой ловкостью и темпераментом. Бабушка кипела от негодования. Ко мне, обманщице и лгунье, она отнеслась с презрением и потребовала сурового наказания. Вранье считалось величайшим грехом, и я это знала. И все же бабушкина реакция меня огорошила. Взрослый человек дал мне важное поручение, и я прекрасно с ним справилась. Так в чем же моя вина? Алю же бабушка не заметила вовсе, ей не сказала ни слова. И это тоже показалось мне странным. Если ругать, то и Алю, ведь это ее взрослую просьбу я выполняла.

Через полгода после нашего конфликта не стало бабушки, через три месяца после бабушкиной смерти чудом выжила Аля, но, честное слово, я часто вспоминала о странном эпизоде. В воспоминаниях реакция бабушки осталась неадекватной моему проступку. И только теперь, спустя сорок пять лет, кое-что прояснилось. Передо мной сложенное треугольником письмо, написанное Алей Хрюковой 7 июля 1951 года, за два года до описываемых событий. Письмо адресовано бабушке. (Орфография сохранена.)

Здравствуйте дорогая многоуважаемая Ольга Александровна, с приветом Аля.

Дорогая Ольга Александровна я время провожу здесь интересно и весело. Очень много в лесу земляники, а скоро будут грибы и орехи. Часто хожу на речку купаться. У нас в саду прекрасные три яблони и на них очень много яблок средней величины. Дальше идет узкая тропинка, а с двух сторон вишни раскинули свои ветви. Слева на большом расстоянии тянутся кусты черной смородины, крыжовника и малины. Справа растут овощи, а именно: капуста, огурцы, чеснок, лук, репа, морковь. А в самом конце сада растет клубника. Все ягоды уже поспели. Ольга Александровна, я зарисовала наш дом, когда был закат. Очень хорошо были расположены тени. Все никак не удается нарисовать коров. Они из стада ворачиваются домой вечером и никак не постоят спокойно на месте, то нагнутся, то идут. Я сделала только наброски. Нарисовала кур, коз и гусей.

Я очень загорела. Только не знаю поправилась я или нет, потому что тетя Фима, у которой я живу, говорит, что я не замечаю. Ну вот когда я приеду, тогда вы сами увидите.

Недавно ходила в кино, на станцию. Смотрела: «Дети капитана Гранта» и «Спортивная честь». Ну вот и все, что я хотела вам написать.

Передайте привет Тане и Семену Борисовичу.

До свидания. Крепко вас целую.

Хрюкова Аля.

С начала 20-х годов и до самого конца жизни бабушка учила детей рисовать. Широко образованная и разнообразно одаренная, она занималась с детьми не только рисованием, но и историей искусства, рассказывала о музыке и литературе, об итальянских впечатлениях своей молодости. В 30-е годы группы ее обрели особую популярность. Сужу об этом и по воспоминаниям учеников, и по записным бабушкиным книжечкам, мелко исписанным многочисленными фамилиями.

Традиционно, из года в год, на занятия приглашались соседские дети. Вот и Аля Хрюкова была среди них. Увы, человеческие отношения многослойны, переживают разные этапы. Бабушка, в лучших традициях российской интеллигенции, пыталась воздействовать на окружающий социум, цивилизовать

его. Ей казалось, что в случае с Алей она потерпела поражение. Аля жестоко ее разочаровала. Мне же кажется, что на Алиной жизни общение с бабушкой, занятия и разговоры отразились благотворно, хотя и не так кардинально, как хотелось бы бабушке. Во всяком случае, Аля была не такой, как остальные Хрюковы.

Соседей детства я любила как близких родственников. Хотя и присутствовала при жестоких боях, разыгрывавшихся на кухне и в коридоре в начале 1953 года, в апофеозе «дела врачей». К нашей семье битвы эти имели отношение косвенное. Изрыгая сочные проклятия, соседи метали друг в друга кипящие чайники и раскаленные чугуны утюги. Один такой снаряд пролетел однажды мимо нас с мамой, когда мы очутились случайно в эпицентре баталии.

Сыр-бор разгорался из-за территории, которую соседям предстояло поделить между собой в самое ближайшее время. Соседи Хрюковы и соседи Газенновы никак не могли прийти к соглашению, как они поделят две принадлежавшие нашей семье комнаты после того, как нас вышлют в город Биробиджан.

Товарищ Сталин, желая уберечь московских евреев от народного гнева, обрушившегося на наши головы по вине врачей-отравителей, намеревался именно таким образом осуществить гуманную свою задумку. Со дня на день ожидая высылки, мама старалась купать меня как можно чаще, чтоб «надольше» хватило. В очередной раз водружая на обеденный стол жестяную ванночку, разбавляя холодную воду кипятком из зеленого эмалированного чайника и помещая в ванночку пятилетнюю меня, горестно задумывалась: где и когда доведется купать дочь в следующий раз?

Ванные комнаты, конечно же, существовали в нашем доме, но коллективный разум жильцов перепрофилировал их и назначил кладовками. Умывались на кухне, под единственным краном, а по субботам ходили в Усачевские бани. У нас-то, по счастью, были гостеприимные родственники, использовавшие свои ванны по прямому назначению. Бабушка с дедушкой «брали ванны» у племянницы, жившей неподалеку, в Сивцевом Вражке, родители ездили на Каляевскую, к маминной тетушке, меня, как уже было сказано, купали дома, на обеденном столе.

В те же дни произошел странный эпизод, о котором мама вспоминала редко, со страхом и недоумением. Пасмурным февральским деньком, ближе к концу этого зимнего месяца, мы с мамой гуляли в «иностранный» скверике (на

Метростроевской, возле Института иностранных языков). Мама мерзла на скамейке, съезжившись и засунув руки в рукава пальто, думала грустную думу, я у ее ног безмятежно манипулировала деревянной лопаткой и жестяным ведерком, «пекла» куличи из сырого снега. Рядом с мамой сидела незнакомая, закутанная в платки старушка, тоже гуляла. Вдруг старушка положила руку в варежке на рукав маминого пальто и сказала ласково:

– Успокойтесь, деточка! Все обойдется. Напрасно он за евреев взялся, ваш бог этого не допустит. Теперь-то ему самому скоро конец.

И хотя имени того, о ком шла речь, названо не было, мама окоченела от ужаса, схватила меня за руку и утащила из скверика, оставив старушку в одиночестве и ни разу на нее не оглянувшись. Так что же это было?

Но настал день, и апрельским утром папа ворвался в квартиру, размахивая над головой газетой «Правда».

– Они не виноваты! Они не виноваты! – кричал папа. На что Анна Ивановна Газеннова, сердито пробурчав: – Мне-то чего? Да на кой ляд они мне сдалися? Мне на их вообще насрать! – с досадой хлопнула дверью угловой своей комнаты № 3.

И все же мне казалось, что обмен квартиры, переезд куда-то – это предательство, скандал, вроде развода с мужем или женой. И когда пришло время расставаться с соседями детства, я и вправду грустила.

Итак, Хрюковы, семья романтической Али. Низенькая, не лишенная злодейского обаяния тетя Дуся с гладкими, расчесанными на косой пробор и стянутыми в тугий узел темными волосами, многообещающе сомкнутыми в зловещей усмешечке тонкими губами и хитроватым прищуром зеленоватых глаз. Короткое время лютая Дуся исполняла обязанности моей няни – сажала на горшок, разогревала суп и котлеты, а потому пользовалась полным моим доверием.

Няней моей Дуся была по совместительству, в свободное от основной работы время. На самом же деле она служила в зоопарке, кормила жирными кроваво-красными червячками золотых рыбок, плававших в мрачноватых аквариумах, вмурованных в бетонные стены зоосада. А приземистый кривоногий и простоватый дядя Аркаша, муж готовой на все тети Дуси, работал грузчиком в

подвале магазина «Диета» на Арбате. «Работаю в сетях!» – горделиво сообщал Аркаша, имея в виду сети торговые.

Старшая Дусина дочь, до прозрачности худенькая Тоня, вернулась в Мансуровский, отбыв срок за кражу гардеробного номерка, получение по нему чужой

шубы и последующую ее продажу. В лагере она полюбила Сашу Крикунова, сидевшего за бандитизм, и родила сына Славика. Славик так и остался бледным тюремным ребенком, заморышем и альбиносом, хоть и пробыл в заключении всего-навсего два года – освободился вместе с отцом, вышедшим на свободу раньше Тони. Сначала Славика воспитывали Сашины родители в городе Белгороде, а после Тониного освобождения все трое водворились в Мансуровском.

Семейство Хрюковых в составе шести человек жило в восьмиметровой комнате № 4, за окном которой свет едва брезжил, ибо выходило оно в стену нашего же дома, выстроенного в форме буквы «Е» с укороченной средней палочкой. Так как улечься спать всем одновременно в этом малюсеньком помещении было трудновато, Хрюковы захватили каморку напротив нашей комнаты, одну из тех, что экспроприировали у нашей семьи еще в 1927 году «гр-ки» Глухова и Талалаева. В каморке площадью 3 кв. м и 58 кв. см Саша с Тоней ночевали. Высоченный Саша не умещался в угловом пространстве целиком, даже по диагонали. По этой причине каморка не закрывалась, крупные Сашины ступни перегораживали неширокий коридор и почти упирались в противоположную стену. Проходя в темноте мимо супружеского ложа, приходилось делать привычный зигзаг, протискиваясь между стеной и мозолистыми Сашиними ступнями. Добродушный Саша ничуть не обижался, если его задевали, только большими пальцами во сне пошевеливал.

Саша с Тоней были славными и приветливыми людьми. В заключении они пристрастились к чтению, и мы обменивались с ними книгами. Однажды в обмен на толстый бестселлер под названием «Тарантул» (добытый у школьной подружки и запоем прочитанный за два дня) Тоня предложила мне «Мадам Бовари». Я принялась было за чтение, с увлечением прочла страниц двадцать, но тетюшка моя Татьяна, обнаружив в моих девятилетних руках этот взрослый роман, расхохоталась так саркастически, так насмешливо, как только она одна и умела, книгу отобрала и отбила охоту читать ее вообще. Так и не прочла я «Мадам Бовари» до сих пор и вряд ли уж соберусь.

Однако вернемся к романтическому сюжету – к красавице Але, младшей дочери Хрюковых. Одним из страстных Алиных поклонников был ее собственный двоюродный брат. Кузен пребывал в тюрьме и писал Але письма. Отправляясь отсиживать срок, он был обнадежен и считал Алю своей невестой, что к моменту его освобождения уже не соответствовало истине. На самом деле таких женихов, как кузен, у Али была половина Фрунзенского района.

Летом 54-го Алин брат-уже-не-жених освобожден по амнистии и вышел на свободу. Торжественная встреча происходила в комнатке Хрюковых. Из дальнего Подмоскovieя прибыли родители кузена, семья громко радовалась воссоединению, выпивала и закусывала. Женщины плясали – без обуви, в одних только рыжих чулках в резинку. Обувь снимали не потому, что боялись потревожить соседей, – просто берегли башмаки. Да и колотить пятками по прохладному крашеному полу было очень приятно.

Я обожала хрюковские пляски и до сих пор жалею, что не научилась плясать так же зажигательно, «по-хрюковски». Плясали под простенькие переборы деревенской Аркашиной гармошки, хотя пятки колотили пол в африканском ритме. Было, было в хрюковских плясках нечто африканское, ритуальное. Я мгновенно узнала этот ритм, когда, годы спустя, увидела по телевизору фильм о путешествии в глубины африканского континента.

Итак, кузен, все еще ощущавший себя женихом, вернулся из заключения к невесте, давно уже таковой себя не считавшей и откровенно в этом экс-жениху признавшейся. Объяснение происходило поздним июньским вечером во дворе возле хрюковского окна. Узнав правду и не раздумывая ни секунды, брат пырнул Алю финкой, целясь точно в сердце (по свидетельству очевидцев, финка, вывезенная кузеном из заключения, была чудо как хороша – затейливый черенок набран из многослойной разноцветной пластмассы).

Дядя Аркаша, мгновенно протрезвевший и выскочивший на Алин крик из окна, попытался зажать рану ладонью, но струя крови отбросила отцовскую руку. Наша Аля оказалась под стать легендарной Мурке, но гораздо удачливее. Нож прошел в миллиметре от Алиного сердца, скорая помощь приехала вовремя, и Алю спасли. Аля долго лежала в больнице, выздоровела, но к нам не вернулась. Вместо этого вышла замуж за славного Сашу, жителя верховьев Метростроевской улицы. Саша преданно навещал Алю в больнице, нежно ухаживал за ней и был вознагражден по заслугам. Аля переселилась в его

миролюбивую семью, а про нас позабыла. Зато у нашей квартиры появился романтический ореол. Квартира гордилась Алей.

Ну а кузен добровольно сдался и отправился отбывать новый срок, дожидаться амнистии, и на прощание посулил насмерть зарезать Алю уже после следующего своего возвращения. Незлопамятные Хрюковы отправляли племяннику посылки, собирая их из продуктов, которые дядя Аркаша добывал на хлебной своей работе. Провизию дядя Аркаша притаскивал домой мешками – мешок сухофруктов, мешок риса, мешок вермишели. А однажды приволок в мешке огромного осетра с острым хребтом и хищной пастью. Царь-рыба, ростом почти с самого Аркашу, была так великолепна, что Аркаша не удержался – похвастался диковинкой перед соседями. Вот только рыбина явственно пованивала, видно, не первой, да и не второй свежести была осетринка. Наверное, по этой причине и попало чудо природы в Аркашин мешок.

К счастью, под комнатой Хрюковых существовал земляной погреб, равный по площади самой комнатушке, так что было где хранить продовольственные запасы. Согбенный под тяжестью неподъемного мешка, мелкий, но крепкий Аркаша на полусогнутых ногах, дробно и звонко топоча подкованными сапогами, стремительно проносился по длинному, загнутому под углом коридору. Тяжеленный мешок, подталкивая Аркашу в спину, придавал ему ускорение.

Вскоре после Алиного замужества у Тони с Сашей родился Вовка, зачатый в темном чулане качественный плод свободной и сытной жизни. Вовку прописали на восьми квадратных метрах, а Аля с метров этих выписалась, и, таким образом, в небольшой комнате № 4 продолжали жить шестеро.

Подросший, но все еще мелкий Славик готовил уроки, сидя по-турецки в уголке узенького коридорчика, в который выходила дверь хрюковской комнаты. Устраивался Славик уютно, сооружал из ящика маленький столик, ему ничуть не мешало, что через него ежеминутно перешагивали. Я завидовала этому коридорному комфорту – мне о таком и мечтать не приходилось. Взрослой судьбы Славика я не знаю. Мы расстались с Хрюковыми, когда он перешел в третий класс. Но своеобразие в Славике было. Этот мальчик, например, умел добывать деньги. У него это получалось. И распоряжался Славик добытыми деньгами необычно. Может, он теперь «новый русский», благотворитель?

Наступали очередные ноябрьские или майские праздники. Мы ждали их, готовились, заранее договаривались с родителями о сумме, назначенной для праздничных наслаждений. До реформы 61-го года пределом мечты была десятка. Этого вполне хватало на покупку пронзительно пищущего шарика «уди-уди», набитого опилками и упакованного в разноцветную фольгу мячика на резинке, порции мороженого и еще чего-нибудь очень праздничного.

Насладившись зрелищем возвращавшихся с парада по Садовому кольцу пушек и ракет, собирались в своем дворе. Самым бойким удавалось добыть заманчивую и загадочную вещь, своего рода символ эпохи. Предмет этот не продавался, но его можно было выклянчить у возвращавшихся с Красной площади демонстрантов. Иррациональная вещица представляла собою ветку березы (осины, тополя, клена), к Первому мая – ожившую, с проклюнувшимися листочками, к Седьмому ноября – сухую, мертвую, но и весной и осенью с прикрученными проволокой пышными аляповатыми цветками, сооруженными из цветной гофрированной бумаги. Проходя мимо Мавзолея, граждане вздымали ветки с бумажными цветами, имитируя цветущий и колышущийся под свежим ветром бело-розовый, независимо от времени года, сад. После демонстрации фальшивый предмет не выбрасывали, а приносили домой и помещали на видное место: ставили в хрустальную вазу или засовывали за зеркало. Там-то свидетель светлого праздника и пылился месяцами.

Итак, мы возвращались во двор и хвастались праздничными трофеями. Карманы Славика были полны сокровищ. Значительную часть огромных своих сбережений он тратил на покупку значков, жестяных брошек, карамелек, остальное превращал в металлическую мелочь. И для Славика наступал апофеоз праздничного дня. Встав посреди двора и широко расставив ноги в коротких вельветовых штанах с манжетами, белобрысый Славик горстями вынимал из карманов значки, карамельки, монеты и, подобно сеятелю, разбрасывал это звенящее богатство вокруг себя. С наслаждением наблюдая, как дворовые наши девчонки, все как одна старше Славика, бросаются подбирать дармовые драгоценности, отталкивают друг друга, ссорятся, галдят, заискивают. С жутковатой усмешечкой, унаследованной от бабушки Дуси, наблюдал Славик свою человеческую комедию. Что за этим стояло, во что вылилось? Не узнать никогда.

Мы прожили рядом с Хрюковыми до конца 50-х. Добрый Хрущев переселил наших соседей в трехкомнатную квартиру одной из своих пятиэтажек, и мы расстались навеки. Хрюковы оказались среди первых счастливиц, получивших отдельные квартиры. А незадолго до переезда у жестокосердной, непробиваемой тети Дуси случился обширный инфаркт. Оказалось, что и ей не чуждо ничто человеческое. Лежа среди подушек на высоченной никелированной кровати, тетя Дуся сдюжила, выжила и не только благополучно переехала в Черемушки, но и сохранила пыл для невинных розыгрышей и шалостей. Время от времени звонила по телефону и, не слишком старательно изменяя голос, произносила нечто загадочно-зловещее, надеясь поселить в наших душах смятение и ужас. Между прочим, выжила наша соседка не только благодаря мощному организму и недюжинной жизненной силе, но и стараниями знаменитого доктора Вотчала, собственноручно лечившего тетю Дусю каплями своего имени. С доктором Вотчалом тете Дусе крупно повезло.

Одновременно с Хрюковыми покинуло нашу квартиру и семейство Газенновых, речь о котором впереди. Вместе с Газенновыми и Хрюковыми переехали в Черемушки и остатки семейного столового серебра – ошметки бабушкиного приданого с заветными, почти онегинскими вензелями на черенках – каллиграфическими «О» и «В». На память о былом осталось несколько чайных ложечек, чудом не экспроприированных соседями на совместном жизненном пути. В открытке, отосланной тетушке, уехавшей осенью 1958 года в Питер, я написала: «Дорогая Таня! У нас большая радость. Уехали Газенновы. В их комнате поселились муж и жена, Иван Григорьевич и Анна Васильевна Морозовы».

Морозовская пастораль и блистательные Людаевы

И действительно, пожилым супругам, одноногую Ивану Григорьевичу и жене его Анне Васильевне, дали в нашей квартире сразу две комнаты, большую – газенновскую и маленькую – хрюковскую. В комнатке Хрюковых поселилась слепая старушка в чепце – Варвара Алексеевна, мать Ивана Григорьевича. Эпоха Морозовых, славных чудаковатых людей, была самой пасторальной в истории нашей квартиры. Тихая, спокойная, но чуть-чуть скучноватая. У моих родителей сложились с Морозовыми самые теплые, почти родственные отношения.

Ознаменовалось начало морозовской эпохи глобальной реформой – перенесением вешалки для верхней одежды из комнаты в коридор. Стало очевидно, что Морозовы не сопрут наших пальто и не станут шарить по карманам папиных телогреек. Папа приколотил вешалку в коридоре, и в нашей квартире наступила хрущевская оттепель.

Иван Григорьевич – небольшой, светло-рыжий, приветливо-лукавый человек с хитрецей и приятным подходцем. Анна Васильевна, в противоположность мужу, – смуглая, серо-седая, мрачноватая и прямолинейная, с трагическими кругами вокруг глаз. Однако без признаков коварства и недоброжелательства. Хотя и без чувства юмора. Некоторые шероховатости случались у Анны Васильевны только с моей тетушкой, ироничной, априори склонной к конфронтации (иронии моей тетушки хватило бы на нескольких московских интеллигентов).

Но что это были за шероховатости! Шероховатости на высочайшем духовном уровне. К примеру, тетушка моя постоянно слушала Баха и Генделя, отгораживаясь с помощью этой громкой и содержательной музыки от мелкотравчатого и рутинного квартирному быта, сосредотачиваясь под ее защитой на своей работе – главном деле жизни. Утомленная музыкальной классикой, дождавшись Таниного появления в кухне, Анна Васильевна спрашивала задиристо: «Татьяна Семеновна, что за ужасную музыку вы день и ночь слушаете: всё бах да бах, бах да бах?»

«Это Бах!» – ликуя от неожиданного, с неба свалившегося каламбура, радостно восклицала моя остроумная тетушка. А на запальчивый вопрос Анны Васильевны по поводу личности невежливой дамы, время от времени звонившей по телефону, но пренебрегавшей общепринятыми «пожалуйста» и «будьте добры», а вместо этого повелительно произносившей низким голосом: «Татьяну Семеновну!» – следовал убийственный ответ: «Эта дама – Анна Ахматова!»

В интонациях тетушкиных ответов Анне Васильевне небезосновательно мерещился сарказм. Вспыхнув, она обиженно умолкала и удалялась в свою комнату, мерцавшую зелеными аквариумами и голубым телевизионным экраном. Короче говоря, шероховатости бывали, но пустяковые, не сравнимые с теми, что случались у нашей Тани с прежними соседями, однажды чуть не убившими ее дубовой дверью ванной комнаты.

На дальнем Севере, откуда приехали к нам Морозовы, Иван Григорьевич лишился ноги. Почему и когда они там оказались, долго ли прожили, что пережили, при каких обстоятельствах пострадала нога, мы так и не узнали. Ясно одно – в дальние края ездили Морозовы не за длинным рублем и не по собственной воле.

С мебелью у Морозовых было скудно, и мама с восторгом сбагрила соседям мебельные излишки, без толку загромождавшие небольшую нашу комнату, посередине которой возвышался папин мольберт. Перво-наперво мы избавились от глубокого зеленого кресла. В младенчестве оно служило мне колыбелью, а 5 декабря 1953 года, сидя в нем, скоропостижно скончался дедушка. И после дедушкиной смерти кресло стало просто громоздким вместилищем наших пожитков. Вслед за креслом Морозовым отдали тонетовский столик красного дерева с маленькой круглой столешницей. Бывало, что ни положишь на этот столик, все с него сваливается. Толку никакого, одна красота. Но до красоты ли нам было в нашей-то тесноте? И, наконец, отдали бессмысленную в быту, хоть и музейную вещицу – толстенькую ампирную колонку, выточенную из цельного ствола карельской березы. Мастеровитый Иван Григорьевич имущество подновил и приспособил к своей жизни.

Приволакивая протез, предприимчивый, любопытный, соскучившийся по столице Иван Григорьевич сновал по Москве, что-то придумывал, мастерил, занимался безобидной коммерцией. Увлеченно разводил аквариумных рыбок – люминесцентных неонов и агрессивных ультрамариновых петухов, торговал ими на Птичьем рынке.

Иван Григорьевич интересовался всем, что происходило в Москве в ту оттепельную пору. С энтузиазмом посещал международные выставки, открывавшиеся то в Сокольниках, то в ЦПКиО им. Горького, то в Манеже. Терпеливо выстаивал на единственной своей ноге суточные очереди, добывал в смертельных схватках бесценные сувениры и возвращался домой ликующим победителем – то с десятком одноразовых финских рубашек, то с дюжиной бумажных носовых платков в крупную клетку, то с полными карманами разноцветных, похожих на леденцы значков с выставки чешского стекла. Иван Григорьевич по-детски радовался столичным сюрпризам.

Хитровато прищурившись и лукаво поглядывая сквозь толстые линзы очков, Иван Григорьевич говаривал: «А в проклятое-то царское время курица стоила две копейки...» или: «А при царе-то кровососе пуд огурцов за рубль отдавали».

Анна Васильевна, коричневыми кругами вокруг глаз напоминавшая актрис немого кинематографа, испуганно одергивала мужа и меняла тему разговора.

Так бы и жили мы вместе с Морозовыми долго и счастливо, но умерла слепая старушка в чепце (мать Ивана Григорьевича), существовавшая бесплотной тенью в хрюковской комнатке, и возникла опасность, что Морозовых уплотнят, а крошечную комнатенку отнимут. И хотя при Хрущеве вроде бы никого не уплотняли, Анна Васильевна с Иваном Григорьевичем поспешили обменять две невзрачные темные комнаты на одну большую и светлую – по соседству, в Соймоновском проезде, с видом на бассейн «Москва».

В новом доме им жилось плохо, соседи оказались злыми, неприветливыми, а когда Морозовых переселили в дальний район, в отдельную квартиру, в одиночестве им стало совсем неважно. И в результате очутились они на станции Левобережная, в доме для престарелых, и мама моя ездила к бывшим нашим соседям до конца их дней, завершившихся сначала для Ивана Григорьевича, а потом уж для Анны Васильевны. Хотя и была она старше мужа на целых двенадцать лет.

На смену славным Морозовым, почти что родственникам нашим, явились чуждые Людаевы во главе с крупным черно-белым животным – кошкой Маркизой. Красивая, но необаятельная, Маркиза строго надзирала за своими хозяевами и обладала статусом повыше, чем сам Федор Григорьевич – отец семейства и важный человек. Федор Григорьевич курировал по неведомой нам линии московские рестораны, носившие имена столиц стран социалистического лагеря. То есть присматривал и за «Пекином», и за «Будапештом», и за «Софией», и за «Прагой».

Федор Григорьевич вел себя солидно – был молчалив (голоса его я не помню), не вертел шеей, не разворачивал корпуса, не выгибал торса, не втягивал живота и минимально шевелил руками и ногами. Если возникала необходимость разминуться с соседом (а такое изредка случалось в тесном квартирном пространстве), приходилось вжиматься в стену, потому что Федор Григорьевич совсем не умел маневрировать.

Каждый день перед отбытием Федора Григорьевича на службу жена его Валентина Алексеевна исполняла в коридоре утренний ритуальный танец. Нарочито торжественно подавала мужу монументальное габардиновое пальто, закутывала любимое горло волосатым мохеровым шарфом (диковинною в те

времена вещицей), подносила пыжиковую шапку, похожую на пышный ржаной каравай. Суетливо забегаая вперед, отпирала входную дверь и передавала супруга с рук на руки личному его шоферу, как две капли воды похожему на Федора Григорьевича.

Этот солидный господин (тоже в пыжике, но не таком пышном, как у патрона) бережно усаживал Федора Григорьевича в серую персональную «Волгу», а Валентина Алексеевна, маленькая, мяконькая, расторопная, в мелких папильотках, не делая даже краткой паузы, сразу же принималась готовиться к вечернему возвращению мужа. Усердно кроша что-то, взбивая или размешивая, Валентина Алексеевна горделиво поясняла:

– Федор Григорьевич у нас гурман, он к фуршетам привык. – Слово «гурман» Варвара Алексеевна произносила на южнорусский манер – с фрикативным «г» и ударением на первом слоге.

То есть уже в те давние, вполне кондовые времена наш Федор Григорьевич пристрастился к ненашенским экзотическим «фуршетам», о которых никто еще и слухом не слыхивал. Посольства всех дружественных государств, родственных подведомственным ему ресторанам, постоянно приглашали Федора Григорьевича на эти самые «фуршеты», но более всего нравились ему те, что сервировались в посольстве Китайской Народной Республики. Судя по всему, наш Федор Григорьевич действительно был гурманом – любителем китайской кухни.

Маленькая же хрюковская комнатка принадлежала отныне бело-розовой тридцатилетней Анжелике, обладательнице тучи золотых тициановских волос. Юрист по образованию, Анжелика служила в прокуратуре и одевалась потрясающе. В начале 60-х Москва вступила в эпоху костюмов «джерси» и итальянских туфель на гвоздиках, красотой своей ошеломивших столицу. Мало кто мог мечтать даже об одном костюме «джерси» и об одной паре итальянских туфель. Костюм стоил сто двадцать рублей, а «шпильки» – целых шестьдесят! А у нашей Анжелики были костюмы «джерси» всех цветов радуги и соответствующие туфли ко всем костюмам!

Вместительный хрюковский погреб залили цементом и навек замуровали, простонародный крашеный пол покрыли дубовым паркетом и застелили пушистым ковром. Свой будуар Анжелика оборудовала, наподобие примерочной, большим напольным зеркалом, красиво расположив его под углом и под

небольшим наклоном.

Каждый вечер, возвратившись с работы, Анжелика надевала красный «джерсовый» костюм, прелестные ножки обувала в красные лакированные туфельки, распускала по круглым плечикам золотые кудри и в таком поражающем воображение виде, как по подиуму, шествовала, гарцуя и цокая каблучками, по нашему длинному кособокому, загнутому под углом коридору в комнату родителей, чтобы порадовать их своей нарядностью и красотой. Возвратившись к себе, Анжелика переодевалась во все зеленое, сооружала на голове что-нибудь замысловатое и отправлялась тем же маршрутом. Затем наступал черед белого, голубого, золотистого... Наконец уставшая от переодеваний Анжелика выходила из своего будуара в халате, шлепанцах, «бигудях», с лоснящимся от крема лицом и остаток вечера смотрела с родителями телевизор.

И каждый вечер мы испытывали жестокое разочарование, потому что ожидали романтического продолжения переодеваний. Нам упорно мерещились свидания, рестораны, красивая жизнь, которой заслуживали наряды Анжелики, золотые кудри и вся ее бело-розовая стать. И лишь однажды бойкая черноглазая подруга Аня чудом вытащила нашу Анжелику в гости к молодому, но уже успешному художнику Илье Глазунову.

Потрясенная галантностью маэстро, роскошеством угощения и необъятностью мастерской, Анжелика с упоением вспоминала этот единственный ночной визит. Мы же тщетно мечтали о его повторении. Но по вечерам и воскресеньям Анжелика танцевала твист не в блистательном обществе Ильи Сергеича, а перед сидящими в чешских креслах умиленными родителями. И танцевала превосходно!

Было нечто загадочное в том, что семья вельможного, привыкшего к «фуршетам» Федора Григорьевича прозябала в нашей убогой квартирке. Со временем выяснилось, что Людаевы просто-напросто боялись ограбления, а жизнь в общей квартире казалась безопаснее жизни в квартире отдельной. Но в конце концов мы опротивели Людаевым, и особенно Анжелике. Она даже стол свой кухонный развернула таким образом, чтобы наши физиономии не маячили у нее перед глазами. Ну а нам в таком ракурсе было еще удобнее любоваться кругленькой ее спинкой, хорошенькими ножками и роскошными волосами. Дело кончилось тем, что терпение Людаевых лопнуло, они согласились на отдельную квартиру, канули навсегда и увезли с собой тайну одиночества златокудрой

красавицы Анжелики.

Димерджи, Бобров и Сумароков

Людаевы канули в Лету в 65-м, и в квартире наступили очередные новые времена. В комнату Газенновых, сохранившую на веки вечные название именно этого периода своей истории, въехало молодое семейство Димы Димерджи, тбилисского грека и московского радиожурналиста, женившегося на нашей соседке по переулку – Ларисе, коломенской версте античных пропорций. У Димы с Ларисой только что родилась дочка, жилищные условия Ларисиной семьи улучшили – выдали ордер на темноватую сырую комнату, впитавшую кухонные ароматы всех прошедших эпох. Семейство Димерджи в исторической ретроспективе нашего паноптикума оказалось вполне симпатичным. Несомненное обаяние придавали ему Димина тбилиско-греческая фактура, располагающий акцент, о котором сам он и не подозревал, и, конечно же, маленькая Маринка, доросшая на просторах нашего коридора до второго класса французской школы.

Квартиру периодически заполняли поющие и танцующие Ларисины сестры. Двух младших, двоящихся в глазах близнецов Свету и Люсю, солисток вокально-инструментального ансамбля с модным названием «Ивушка», окружал ореол славы. Они ездили на международные фестивали и форумы, украшали тоненькими, на удивление синхронно звучащими голосами комсомольские тусовки высокого ранга, и семья гордилась их благополучным звездным сиянием. И слабенькие их голоса, и не слишком выразительная внешность от возведения в квадрат обретали иное качество и звучание. Общий голос близнецов звучал звонко, а черты лиц, удвоившись, оказывались миловидными. О мощных свойствах своего тандема сестры знали и никогда не разлучались.

Раз в год являлась из Тбилиси Димина мама, славная женщина Нина Дмитриевна – с тюками, с чемоданами, с банками черешневого варенья, чурчхелами, аджиками, кинзой и прочим тбилиским провиантом. Багаж свой она исчисляла «кусками», говорила: «Сегодня привезла пятнадцать (двадцать, тридцать) кусков». Невестка Лариса скрепя сердце терпела или не терпела свекровь, а та, пожив месяца полтора и совершив московские покупки, со вновь образовавшимися «кусками» и обидами, возвращалась в Тбилиси.

Однажды Нине Дмитриевне необычайно повезло – она купила в ГУМе огромную черную цигейковую шубу. Шубы «выбросили» в продажу совершенно неожиданно и как раз в тот момент, когда Нина Дмитриевна проходила мимо мехового отдела. Редкостная по тем временам удача! Нина Дмитриевна была счастлива. Мы оценили покупку и порадовались за Нину Дмитриевну, но удивились, зачем ей такое жаркое одеяние в южном городе Тбилиси.

– Теперь, – объяснила она мечтательно, не скрывая радостного предвкушения, – мне не стыдно будет ходить на похороны знакомых.

Через несколько лет Дима получил квартиру от своего радиокомитета, нас пригласили на новоселье, и некоторое время отношения с бывшими соседями пунктирно поддерживались. Дальнейшие приключения семьи Димерджи происходили уже на другой территории, а на память об остроумном греке остался транспарант, приклеенный к стене над телефонным аппаратом: «Интимный голос – союзник успеха. (Эдисон)». Совет изобретателя был актуален, потому что среди жильцов квартиры, а особенно среди членов нашей семьи, принято было беседовать по телефону в полный голос, проще говоря – орать. После отъезда греческого семейства темную и душную комнату № 3 удалось перевести в категорию нежилых помещений, и новые жильцы на сей раз не появились.

Одновременно с семьей Димерджи в комнату № 4 имени Хрюковых въехал Владимир Михайлович Бобров – разлапистый шумный человек лет тридцати. Очки с сильными диоптриями придавали новому соседу псевдоинтеллектуальный вид, впечатление от которого развеивалось в первые же секунды общения. Персонаж этот, напоминая гигантскую, топорно выполненную марионетку, эдакого нелепого ушастого Гурвинека с ежиком волос, был открыт, приветлив, дружелюбен. Он сразу же обратился к маме с проникновенной просьбой:

– Прошу вас, будьте моей мамой!

Владимир Михайлович был так своеобразен, что хрюковская комнатка сразу же перестала называться «хрюковской» и стала «бобровской». Главными чертами Боброва были неприкаянность, ничем и никем не утоляемая жажда общения, непрестанный беспокойный поиск. Этот человек не выносил одиночества и метался, стараясь заполнить зияющую брешь. Сквозь уютную и безалаберную бобровскую комнату проносилась в бешеном вихре вереница женщин. Каждый

вечер близорукий Бобров неуклюже топтался возле станции метро «Парк Культуры»-кольцевая, отлавливая новых и новых подруг.

И топтался небезуспешно. Не различая в темноте возраста дамы, заговаривал с женщинами, не обращая внимания ни на внешность, ни на комплекцию потенциальной подруги. Да это и не имело никакого значения, потому что встречи в большинстве своем ограничивались единственным кратким эпизодом, и, выпроводив очередную возлюбленную, минут через сорок Владимир Михайлович возвращался со следующей. В коридоре раздавались приглушенные голоса разнообразнейших тембров, походки и поступи широчайшего диапазона. Кое-кто появлялся вторично и даже персонифицировался. Случалось, Бобров попадал в десятку, и возникали красавицы наподобие статной Галины, потрясшей квартиру сочностью форм и роскошеством рыжих волос.

Были в запасе у Боброва и рабочие лошадки вроде кургузой, коротконогой и плосколицей Нины, использовавшейся преимущественно по хозяйству и вызывавшейся для большой стирки и уборки мест общего пользования. Нина безропотно и благодарно исполняла повинность, наскоро вознаграждалась и была искренно привязана к Владимиру Михайловичу. С трудолюбивой Ниной связана прелестная история.

Однажды августовской ночью, не зажигая света, Дима Димерджи курил у раскрытого окна своей комнаты – на расстоянии вытянутой руки от окна Боброва, тоже открытого. Сам Владимир Михайлович отлучился в Астрахань, к маме, крупной мосластой тетеньке, чрезвычайно похожей на сына. А на время своего отсутствия поселил в комнате подругу Нину.

Покуривая и поглядывая то на сиреневое августовское небо, то на черные дворовые кущи, Дима заметил, что к окну бобровской комнаты, крадучись, приблизился человек, и не просто приблизился, но и занес через подоконник ногу. То есть незнакомец пытался влезть в окно комнаты № 4 через тот же невысокий подоконник, который в обратном направлении запросто перемахнул пятнадцатью годами раньше Аркаша Хрюков, спешивший на помощь к истекающей кровью дочери Але.

Неуклюже переваливаясь через подоконник, посетитель замешкался. А Дима мешкать не стал – в тбилисском человеке проснулся витязь в тигровой шкуре, а проснувшись, схватил оказавшийся под рукой топорик для разделки мяса, выпрыгнул из окна, замахнулся кухонным орудием на ночного визитера и

потребовал предъявить документы. Угрожая при этом немедленной расправой и вызовом милиции. В темном оконном проеме медузой колыхался бледный Нинин силуэт.

Проснувшись от гортанных Диминых воплей, мы выскочили из своих комнат. Человек, оседлавший подоконник, умоляюще скулил:

– Не вызывайте милицию, я сам милиционер, – и протягивал удостоверение своей личности. Строгий Дима убедился, что посетитель не врет, что он действительно милиционер, более того, наш собственный участковый уполномоченный. Смилостивившись, Дима отпустил участкового, а история эта заняла свое место среди квартирных апокрифов, пополнив мифологический ряд.

Простодушие Боброва не знало границ. Однажды Владимир Михайлович представил нам трех разновозрастных субъектов и отрекомендовал своими школьными друзьями из города Астрахани. Друзьям детства негде было переночевать, Владимир Михайлович решил приютить их, а мы с поразительным бесстрашием одобрили гуманное его намерение. То есть простодушие было характерной чертой всех жителей нашей квартиры. Приютив друзей, сам Владимир Михайлович удалился к одной из подруг, потому что вчетвером в крошечной его комнатке было не уместиться.

Комната № 5 к этому времени возвратилась в нашу семью, и с некоторых пор это была наша с мужем моим Евгением собственная комната, а отделялась она от комнаты № 4 тонкой дощатой перегородкой. То есть жизнь Боброва и его гостей происходила не более чем в десяти миллиметрах от изголовья нашей кровати. На рассвете услышала я шебуршение, суету, поспешные шаги по коридору, хлопок парадной двери, а еще через пару часов возбужденный голос вернувшегося домой и мечущегося по квартире Боброва, отчаянно взывающий:

– Где мои друзья? Где они?

Оказалось, что со школьными друзьями Бобров познакомился накануне на площади Трех вокзалов и что вместе с ними исчезла единственная ценность нищего Владимира Михайловича – немецкий фотоаппарат, с помощью которого изредка удавалось подработать. А еще гости прихватили финский нож, разыскав его в недрах гардероба.

Как ни странно, но в те времена преступников иногда разыскивали, и вскоре друзей детства настигли в городе Волгограде, а потерпевшего Боброва телеграммой вызвали в суд. Фотоаппарат к тому времени друзья загнали, а на вопрос судьи, зачем взяли финку, один из подсудимых, тоже простодушный человек, объяснил, что захватили ее на тот случай, если бы в коридор вышел кто-нибудь из соседей.

Владимир Михайлович жаждал не одних только женщин. Был у него и преданный друг – томный, изящно сложенный Стасик. Посещения смуглого Стасика чередовались с визитами дам. Приходил Стасик надолго, оставался на несколько дней. Атмосфера в дни его посещений была покойной, благостной, а Владимир Михайлович не метался и казался умиротворенным. В те годы рейтинг нетрадиционных сексуальных отношений не был еще так высок, как ныне, и тем более удивителен наш поощрительный интерес к этой нежной мужской дружбе. Вот какие мы были терпимые!

Однажды Владимир Михайлович со Стасиком попали в переплет. Стасик очутился в отделении милиции, а Владимир Михайлович спасся, в возбуждении ворвался в спящую квартиру и принялся яростно накручивать телефонный диск, дозваниваясь до все более и более высоких милицейских инстанций. Всю ночь под дверью нашей комнаты он отчаянно вопил в телефонную трубку:

– Немедленно возместите мне моего друга Станислава Анатольевича!

К счастью, утром Стасика выпустили из кутузки невредимым, очевидно испугавшись напора Владимира Михайловича и поняв, что такого друга возместить невозможно.

Случались истории и иного рода, грустновато-лирические. Однажды появилась в квартире милая женщина Таня. Гордо и нежно Владимир Михайлович отрекомендовал Таню своей женой. Оглушенная произошедшим с нею чудом, Таня рассказала, как накануне оказалась на дне рождения подруги; как, давно уже не надеясь на перемену участи, скромно сидела в уголке; как внезапно дверь распахнулась и в комнату вошел Владимир Михайлович (мы хорошо представляли себе напористое его явление); как близорукий и одновременно ястребиный взор его мгновенно обнаружил и настиг Таню. Блестяще владевший двумя-тремя драматическими приемами, Бобров впечатляюще воскликнул:

– Это моя жена! – После чего стремительно пересек комнату и взял женщину за руку. Ошеломленная Таня не сопротивилась судьбе и не вернулась в родной Ногинск ни в этот вечер, ни на следующее утро. Без раздумий поселилась Таня в комнате № 4.

Обыкновенно Владимир Михайлович легко решал проблему расставания с чрезмерно увлекшимися и потерявшими чувство реальности дамами. Способ был один-единственный, но отшлифованный до совершенства. Назначалась очередная встреча, на которую Владимир Михайлович не являлся, но и домой в вечер свидания не возвращался. Расстроенная и обескураженная дама, прождав понапрасну, сколько хватило сил, еще с вечера оборвав телефон, на следующий день наконец-то дозванивалась до возлюбленного. А Владимир Михайлович с потрясающей душой натуральностью разыгрывал шекспировскую по силе и страсти роль обманутого мужчины, целую ночь тщетно прождавшего возлюбленную в назначенном месте. Никакие объяснения и оправдания не принимались, прощения не было никому!

– Над Бобровым не издеваются! Боброва не обижают! Бобров не прощает! – басил Владимир Михайлович в трубку (привычка говорить о себе в третьем лице прибавляла ему значительности). И до конца дней, ощущая себя жертвой чудовищного недоразумения и одновременно чувствуя свою вину, дама сетовала на судьбу-злодейку, разрушившую почти состоявшееся счастье.

Близился и Танин час «X». Но опять вмешалась судьба и отсрочила развязку – Таня сломала ногу. Перелом оказался сложным, со смещением, и Бобров, добрый в сущности человек, не стал выгонять женщину из дому в таком жалком виде, а скитался где-то целых полгода, изредка навещая Таню, и только после того, как нога срослась, отправил ее восвояси. За то время, что Таня прожила в нашей квартире, мы подружились и, как могли, подготовили славную женщину к неизбежному финалу. Так что отложенного на полгода спектакля Владимиру Михайловичу разыгрывать не пришлось. Таня и сама рада была унести ноги, в том числе и благополучно сросшуюся.

Прошло время, и неожиданно для всех, деловито и предприимчиво Бобров обменял свою крошечную душную комнатенку на просторную и светлую в квартире напротив. Более того, он взаправду женился на симпатичной толстушке, тоже Татьяне, и, казалось бы, зажил своим домом. Идиллия эта стала возможна потому, что теперь Владимир Михайлович снабжал чем-то нужным геологические партии и постоянно разъезжал по стране, благодаря чему

мятежная его душа и мятежное тело удовлетворяли мятежные свои потребности где-то там, вдалеке.

Давним летом встретила я Боброва у подъезда нашего дома в последний раз. Владимир Михайлович рассказывал о тяжелых разъездных впечатлениях, о чемоданах колбасы для друзей, живших и работавших в тех медвежьих углах, куда забрасывала его жизнь, о безысходности их существования. Долго рассказывал, не мог остановиться. И тем же жарким летом умер скоропостижно, в сорок два года, то ли от инфаркта, то ли от инсульта, в переполненном московском автобусе. Где-то хранится обертка от шоколадки «Люкс», красная с голубым бантом, с трогательной надписью: «Ольге в день ее рождения на долгую память от Владимира Михайловича Боброва». А в квартирном лингвистическом арсенале осело шутивно-зловещее предостережение, обращенное к очередной подружке:

– Мы еще будем посмотреть на твое поведение! А надо будет – клизму из битых лампочек поставим. – И многозначительное предупреждение: – Наши люди в унитазе...

Столь предприимчиво Владимир Михайлович обменялся комнатами с личностью душераздирающей – с Николаем Александровичем Сумароковым, маленьким, жалобного вида и неопределенного возраста человечком, с огромными серыми глазами удивительной красоты. Опустившийся на самое глубокое, самое тинистое дно, никому не нужный, оголодавший, вечно топчущийся у ближайшего продовольственного магазина, Сумароков был «человеком со стаканом». Желаящие выпить «на троих» арендовали стакан, а Сумарокову в качестве гонорара предоставлялась возможность высосать последнюю бутылочную каплю. Описывать этого несчастного человека и его приключения нет сил. Жить бок о бок с Сумароковым было тяжело. Период этого грустного соседства сохранился в памяти чередой тягостных эпизодов.

Вхожу в подъезд и вижу Сумарокова, копошащегося у входной двери и тщетно пытающегося ее открыть. Жду, но дело не сдвигается с места. Решаю открыть своим ключом, подхожу ближе и вижу – вместо ключа сосед наш упорно всовывает в замочную скважину карамельку в фантике.

Из кухни несется гортанный Димин вопль. Кастрюля с кипящим Диминым супом открыта, а сам крупный brutальный Дима, кипя от негодования сильнее своего супа, схватил за руку тщедушного Сумарокова, поднял ее, эту тощую

скрюченную лапку со стекающими каплями мясного бульона, и с кавказской страстностью обличает похитителя говядины. На следующий день, оставив якобы без присмотра скворчащие на сковороде котлеты, Дима притаился за дверью своей комнаты, расположенной вплотную к кухонной. И, конечно же, подстерег Сумарокова, схватившего с раскаленной сковороды недожаренную котлету. Темпераментный, суматошливый, но незлой Дима суетился просто так, из любви к истине. Он не собирался устраивать расправу, просто хотел расставить точки над «і».

Отважно похищая котлеты, совершая набеги на наши кастрюли и сковороды, Сумароков оставался человеком робким и, случалось, целыми днями не решался выйти из комнаты. Выглядывал в щелку, как мышонок, и прятался обратно. Го?лоса Сумарокова мы не слышали никогда, в памяти остался только шелест. Зато тягостный запах, увы, очень помнится, да и мудрено его забыть. Запах сопутствовал соседу, тянулся за ним шлейфом, обретал материальность и окутывал квартиру наподобие дымовой завесы. В ожидании Наташиного рождения я старалась выходить в коридор как можно реже, ибо из-за сумароковского запаха токсикоз мой становился угрожающим.

Апофеоза запах достигал тогда, когда Сумароков приносил с магазинной помойки огромную кость, погружал ее в гигантскую жестяную кастрюлю, тоже помоечного происхождения, и варил свой собственный бульон. Тогда все прочие запахи меркли, исчезали, заменялись адской вонью, а воздух обретал плотность «стюдня». Не такие мы были сволочи и, конечно же, делились с Сумароковым и супом, и котлетами, но, увы, этого было недостаточно, да и поздно вато.

А вот эпизод иного рода. Возвращаюсь как-то с прогулки с двухнедельной дочерью. Дома никого нет, а я еще не привыкла к своему свертку, не наострилась включать свет локтем и двигаюсь по загнутому черному коридору на ощупь. И в районе ванной в кромешной тьме наступаю на что-то мягкое. Видно, жизнь в коммунальной квартире укрепляет нервную систему. В постоянной готовности к неожиданностям не пугаюсь, не вскрикиваю, не спотыкаюсь, кулек не роняю, а переступаю через нечто, отпираю дверь, помещаю Наташу в деревянную клетку-кроватьку и только потом выясняю, через что же именно пришлось мне переступить.

А это сосед Сумароков лежит поперек узкого коридора, головой под чугунную нашей ванной, в довольно большой, уже подсыхающей луже крови, и сладко посапывает. Пытаясь вписаться в дверной проем своей комнаты, не дошел двух

шагов и вписался в дверь ванной. Наши ожидалась только к вечеру, так что пришлось позвонить в милицию и жалобным голосом, представившись кормящей матерью (что соответствовало истине), упросить добрых милиционеров приехать и поднять соседа. И что удивительно: приехали и подняли! Подняли, доволокли до комнаты и уложили в кровать!

Душераздирающим эпизодам подобного рода несть числа. Вспоминать их тяжело, а тогда сумароковская ситуация казалась безысходной, и мы с нею смирились. Но произошла очередная смена декораций.

КОАПП

Однажды (вскоре после ванно-милицейского эпизода), возвращаясь со своим младенцем с прогулки, я увидела возле подъезда компанию бородатых очкариков средних лет, вроде бы того же профсоюза, что и наше семейство. Интеллигенты вбегали в распахнутую дверь нашей квартиры, выбегали из нее, резво сновали по коридору и вносили в комнату № 4 тяжелые связки журналов «Знание – сила» и «Наука и жизнь». Боясь поверить забрезжившему счастью, с трепетом наблюдала я за новым поворотом квартирной судьбы.

В этот момент вошел в раскрытую дверь квартиры приятель-художник, случайно проходивший по переулку и заметивший странное оживление. Вошел и с радостным возгласом обнялся с одним из очкариков. Я приободрилась – померещилась перемена участи. И действительно, новый жилец оказался литератором, автором всеми любимой в те тухловатые времена детской радиопередачи «КОАПП» (Комитет охраны авторских прав природы), а вдобавок еще и приятелем нашего приятеля. Я восприняла его явление едва ли не как пришествие мессии. Каким же образом этот самый мессия по имени Майлен оказался в нашей квартире?

Майлен владел неплохой комнатой в приличной квартире с одной-единственной соседской семьей. Но жить в этой хорошей комнате опасался из-за гнусной парочки супругов-стукачей, доставших его до самой печенки. Ваяя еженедельную популярную передачу и неплохо зарабатывая, Майлен решил построить кооператив. А когда дело было уже на мази и получение квартиры стало реальностью, вроде бы задумал наказать гнусных соседей, с вожделием

ожидавших освобождавшейся жилплощади.

Тем более что у проблемы этой был и другой аспект. При окончательном утверждении состава будущего жилищного кооператива мог произойти казус и существовал риск, что к владельцу относительно приличного жилья придерутся и откажут в квартире. Поэтому стоило подстраховаться и обрести жилье похуже. И приятельница Майлена нашла подходящий вариант – нашего Сумарокова с его вонючей каморкой. Таким образом, взамен талантливого литератора соседистукачи обрели человека со стаканом. По слухам, они помучились-помучились, да и подсунули несчастному Сумарокову рыбные консервы сомнительного качества. Как бы там ни было, но вожделенной жилплощадью они таки завладели.

В коммуналке нашей Майлен не собирался жить ни дня, в ожидании кооператива снимал квартиру. Но и нас в одиночестве не оставил. Через несколько дней представил нам Валентину, аспирантку Сельскохозяйственной академии, писавшую кандидатскую диссертацию о курах. Валентина бескорыстно делилась с Майленом нужной для радиопередачи «КОАПП» куриной эрудицией, и благодарный Майлен решил отплатить Валентине добром.

Валентина приехала в Москву с Урала, ради научной карьеры оставив двух малолетних детей на попечении старушки матери. Майлен рассказал нам, как Валентина бедна, как она одинока в чужом городе, как неуютно живет ей в «сельскохозяйственном» общежитии. Еще не веря в освобождение от Сумарокова и сопутствующих ему тягостных ощущений, мы были согласны на все. Валентина перевезла скудные свои пожитки, заползла сама, но оказалась отнюдь не в одиночестве. Вместе с нею в комнате № 4 поселился красавец араб, специалист по ближневосточным курам. Само собой, не говорящего по-русски араба Валентина представила нам как жителя города Баку.

Конечно же, ничего не стоило попереть араба из нашей квартиры. Но Валентину с ее птичьими правами мы пожалели, представили, как уныла и беспросветна ее уральская жизнь, вообразили бескрайнюю птицеферму с тысячами истеричных кур, ощутили запах куриного помета (а в запахах мы знали толк), подумали о том, с какой легкостью можем разрушить кратковременное Валентино счастье. Валентине было за сорок, а аспирантура в жизни женщины случается лишь однажды. Красивый араб одевался опрятно, даже нарядно, носил вельветовые джинсы горчичного цвета, вел себя скромно. Пару они с Валентиной составляли трогательную, а к страстям за фанерной перегородкой

мы привыкли с бобровских еще времен. И зажили себе дальше с арабо-курино-аспирантской парочкой за стенкой.

Так прошло еще полтора года. Валентина окончила аспирантуру, друг ее вернулся в арабскую страну, а Майлен дождался кооператива.

Комната № 4 освободилась. «Квартирный вопрос», испортивший москвичей, был актуален по-прежнему, но жилье такого качества спросом уже не пользовалось. В результате восемь с половиной квадратных метров жилой площади под номером четыре вернулись в семью, и малолетняя Наташа стала обладательницей собственной комнаты.

Сага о Газенновых

Раскинутое здесь эпическое полотно (или лоскутное одеяло, patchwork понынешнему) для полноты картины необходимо надставить еще несколькими кусками. Семейство Газенновых, например, жившее в комнате № 3 еще до Димерджи, Людаевых и Морозовых, семейству Хрюковых ничем не уступало. Поневоле приходится перемещаться во времени, фланировать по прожитым десятилетиям, неприкаянно слоняться туда-сюда.

Когда-то, в папином и Танином детстве, еще до пришествия Газенновых, жил в ближайшей к кухне комнате № 3 холостяк инженер по фамилии Ромбой. Не столько самого инженера, сколько редкостную его фамилию папа частенько вспоминал. Семейство же Газенновых, еще до войны сменившее одинокого Ромбоя, состояло из Ивана Ивановича (которого я уже не застала среди живых), жены его, мясисто-мучнистой, вислозадой, страдающей «перетонией» Анны Ивановны, и семи дочерей. Четыре старших принадлежали одному Ивану Ивановичу, а три младших произведены были на свет совместными усилиями супругов Газенновых.

В нашем дворе Анна Ивановна прославилась декларацией о вреде ношения панталон. Сама Анна Ивановна никогда не пользовалась этой второстепенной

частью туалета и другим не советовала. Анна Ивановна считала, что залог здоровья семьи – в постоянной вентиляции женского организма.

Дочери Ивана Ивановича жили сами по себе. Где-то на отшибе, в Марьиной Роще, существовала Маруська, выданная замуж за племянника Хрюковых – однорукого фронтовика Володьку. Таким образом, соседи наши, давние враги и собутыльники, еще и породнились. И когда Володька с Маруськой приезжали на праздники в гости, обе семьи дружно гордились заправленным под офицерский ремень пустым рукавом Володькиной гимнастерки.

Дуська с дочерью Галькой жили в глубоком подвале дворового флигеля. Гальку Уточкину, как и прочих дворовых детей (из тех, что стремились к знаниям), предварительно поднатаскав по русскому языку и литературе, мама моя определила учиться в свой институт, так что Галька со временем сделалась химиком, а скорее всего – и кандидатом химических наук. Лозунг «Коммунизм есть советская власть плюс химизация всей страны» мама последовательно проводила в жизнь задолго до того, как Хрущев его провозгласил. Не одни только наши дворовые стали химиками благодаря моей маме – на этот путь неотвратимо вступали почти все дети, встречавшиеся на ее жизненном пути. Смутная угроза стать химиком витала и надо мной.

Тетя Катя Королева с Наташкой и Витькой жила в той же подвальной утробе, что и Дуська Уточкина. Катину комнату отделяла от Дуськиной тоненькая фанерная перегородка. Комнатки-каюты были совершенно одинаковые, в них свободно помещалось по две никелированных кровати, разделенных маленьким столиком. Окна-иллюминаторы, расположенные под подвальным потолком, виднелись из-под земли сантиметров на двадцать, и от серого брандмауэра соседнего пятиэтажного дома отделяло их не более трех шагов.

А для того, чтобы попасть в это черное и склизкое подземелье, следовало спуститься на восемнадцать ступенек вниз. Многонаселенное жилье, у входа в которое по вечерам горела лампочка в 15 ватт, походило на корабельный трюм. Множество знакомых моего детства жили под землю, и лица их совпадали по цвету и тону с картофельными ростками. Жизнь заранее, еще до рождения, опустила их ниже уровня Мирового океана, и андеграунд сформировал мироощущение и здоровье подземного поколения.

Тетя Катя подметала Еропкинский переулок, и несколько месяцев я паслась в ее подвале, потому что в этот период она была по совместительству еще и моей

няней (всего в течение первых восьми лет жизни у меня было пять нянь). Я хорошо помню аромат тети-Катиного подвала. Скомпонованный из запахов щелока, керосина, кислой капусты, кипящего белья и сырой земли, он не был противным, а казался жилым, уютным и даже вкусным. И когда я вспоминаю сказку, в которой Баба-яга в предвкушении аппетитной трапезы поводит носом и восклицает: «Чу, человеческим духом пахнет!» – я представляю себе запах тети-Катиного подвала.

Четвертая дочь Ивана Ивановича, Галина, с сыном, опасным подростком и голубятником Сашкой, и дочерью Лидкой, моей ровесницей и подружкой, жила на втором этаже, точно в такой же комнатенке, как наша № 4. И в ней я провела немало времени, потому что в отсутствие тети Галины, сутками работавшей в общепите, Лидка приглашала нас в гости. С детьми Галина не миндальничала, предчувствовала раннюю свою смерть и всерьез готовила их к жизни.

– Сашка, стой на месте и бей в морду! – инструктировала она сына, навалившись грудью на подоконник и наблюдая сверху за происходившими во дворе событиями.

Старшая из общих дочерей Анны Ивановны и Ивана Ивановича, забитая мужем-алкоголиком, изнуренная жизнью худосочная Варька жила в соседнем дворе под загадочным названием Рабфак (в честь рабочего факультета курсов иностранных языков, располагавшегося здесь в 20-е годы), густо населенном крутым криминальным элементом. Подвальные катакомбы торжественного ампиричного дворца Еропкиных (прежде просто Института иностранных языков, а потом имени Мориса Тореза), застроенный сараями огромный двор – все это населял народ пьющий, азартно играющий, вооруженный холодным оружием. Посещение двора сопряжено было с риском, поэтому впервые я переступила опасную черту уже после отъезда подавляющего большинства «рабфаковцев» в Черемушки. И муж Варькин, и старший сын Игорек достойно представляли свою территорию.

Со зловещим Рабфаком связано воспоминание иного рода. В первом классе в школу меня провожал папа. Из дома мы выходили с черного хода и со двора сворачивали в переулок. Нам предстояло обогнуть институтское здание по периметру – пройти вдоль его «еропкинского» торца, мимо выходящего на скверик фасада с десятью белыми колоннами, увенчанными коринфскими капителями и опирающимися на девять арок-ниш (пространство детских игр), и дойти до моей школы вдоль противоположного институтского торца, по

Померанцевскому переулку. И вот что случилось зимними утрами на коротком отрезке Еропкинского переуллка.

Хотя солнце к этому раннему часу успевало подняться невысоко, оно уже сияло из-за тургеневского домика, того самого, в котором обитали некогда Герасим со своей собачонкой. И каждое утро мы с папой шли навстречу рассветному зареву, разноцветным замоскворецким дымам, в унисон восхищаясь неземной их красотой. А навстречу нам со стороны Метростроевской двигался высокий крутобокий конь с всадником – усталым чернобородым цыганом в распахнутом овчинном тулупе. Всадник с конем медленно проплывали мимо и сворачивали в Рабфак. В клубах общего их дыхания, в контражуре, конь и всадник казались единым целым. И ничто не мешало предположить, что на самом деле мы встречали не возвращавшегося с ночной работы старого цыгана на лошади, а последнего московского кентавра.

Две младшие газенновские дочки жили в нашей квартире. Злобная Нюрка была особенно необаятельна. Все вокруг люто ее ненавидели, и однажды кто-то из соседей проклял необычным проклятием, сказав, что никогда не выйти ей замуж, а если кто-нибудь на такую заразу и позарится, то только милиционер. Так и случилось – стервозная Нюрка вышла замуж за милиционера Колю Ганина, славного добродушного человека. Проклятие обернулось для Нюрки благом.

Свадьба Нюркина удалась, погуляли неплохо – были и драки, и кровь, и покалеченный народ. Разошлись довольные. Наутро обнаружилось, что днище здорового жестяного бака для кипячения белья продавлено, а окропленная кровью вмятина определенно имеет форму чьей-то головы. Как выяснилось позже, головы Варькиного мужа Вальки. В тот раз Валька остался жив, утонул он позже.

Приглашенные на свадьбу мои родители, отведав праздничного «стюдн» и «винегреда», ретировались до начала настоящего веселья и всю ночь прислушивались к взвизгам, крикам и дробному топоту под гармошку, боялись, как бы не вышибли отделяющую нас от свадьбы хлипкую застекленную дверь. К счастью, детская ванночка, висевшая, по обыкновению коммунальных квартир, над дверью, упала от сотрясавших квартиру страстей и перегородила подход к комнате. А наутро замужняя Нюрка, напевая, прохаживалась по коридору и гордилась удавшимся торжеством.

– Правда, хорошо погуляли? – с пристрастием допрашивала она мою маму.

Вскоре у Нюрки с Колей родилась Лидочка, и, когда пришло время учиться ходить, девочке вручили пустую водочную бутылку. Лидочка крепко ухватывалась за свою бутылку и уверенно шагала по коридору. Но стоило бутылку отобрать, как Лидочка мгновенно падала. Бутылка придавала Лидочке устойчивость. А самому Коле Ганину придавала устойчивость дочка Лидочка. При входе в метро, за несколько шагов до контролера (надо ли напоминать, что автоматическими турникетами московское метро оснастили много позже), возвращавшемуся из гостей пьяному в дым Коле вручалась Лидочка, и с ребенком на руках наш милиционер двигался уверенно и абсолютно вертикально.

У самой младшей газенновской сестры, рябой Зинки, на заре туманной юности случилась несчастная любовь. Некогда, увлекшись молодым человеком, Зинка вытатуировала на запястье его имя, кажется – Витя. Первая любовь рассосалась, и спустя некоторое время возникла следующая. Но новый возлюбленный поставил жесткое условие – пообещал жениться только после того, как Зинка вытравит «Витю». Зинка травила «Витю» кислотой, выжигала огнем, но он упорно проступал, и Зинка осталась незамужней.

Работала Зинка медсестрой в лечебном учреждении, но на службе ее не ценили. Это было обидно, и для того, чтобы отомстить врагам, Зинка выбрала эффективный и короткий путь – вступила в партию. Решение оказалось верным – Зинку сразу же назначили старшей сестрой. На новой должности партийная Зинка лютовала по-страшному, с врагами расправлялась беспощадно, но перегнула палку, переборщила, и ее выдворили из больницы «по статье». Однако все обернулось к лучшему, Зинка нашла себя в новом качестве и до самой пенсии проработала проводницей в поездах дальнего следования.

А вот в мелочах Зинке не везло. Апофеозом Нюркиной свадьбы стал на удивление громкий, зубодробительный треск раздираемого крепдешина. Кто-то из приглашенных, не в силах обуздать страсть, в неистовом порыве разодрал новое, сшитое к свадьбе сестры голубое Зинкино платье сверху донизу.

– Милицию вызвать! – визжали женщины.

– Не вызывайте, я сам милиционер! – кричал в ответ жених Коля Ганин.

Этот же диалог повторился через пятнадцать лет, отделивших давнюю Нюркину свадьбу от ночной встречи участкового инспектора с радиожурналистом Димой Димерджи. Неглупым человеком сказано, что все возвращается на круги своя!

Между тем Зинке Газенновой я обязана жизнью. Ранней весной 1954 года наша детская компания гуляла во дворе. Снег бурно таял, наступило время ручьев и потоков. Под домом существовал глубокий подвал, фрагмент необъятных московских подземелий. Ключом от подвала единовластно владел дядя Паша Крошин, кряжистый, наголо бритый человек в синих галифе, сапогах гармошкой и длинном кожаном пальто (времен то ли Очакова, то ли Перекопа). Дядя Паша был мужем еще одной моей няньки – тети Поли, под крылом и под сенью фикусов которой я провела полгода, вознесшись из тети-Катиного трюма на третий этаж нашего дома. Подвал был недоступен и, конечно же, хранил тайну. Правда, ходил слухок, будто тайна эта – всего лишь бочка крошинской квашеной капусты, хранящаяся в подвале противозаконно.

Короче говоря, мощные весенние потоки с бешеной скоростью пронеслись сквозь таинственный подвал, а крышка канализационного люка в центре двора была сдвинута. Сгрудившись вокруг люка, мы с любопытством и ужасом заглядывали в бездну, смотрели на пенившийся в преисподней поток. Внезапно в люк свалилась чья-то калоша. Взволнованные происшествием, мы подошли ближе. Край люка обледенел, я поскользнулась и провалилась в люк вслед за калошей. К счастью, крышка люка сдвинулась не более чем на две трети, а пальто на мне было зимнее, неуклюжее, на толстом ватине. Инстинктивно расставив локти, я повисла над пучиной. Итак, высота подвала – метра четыре, по дну его несетя настоящий Терек, я вишу над этим ужасом, расставив локти, а мои друзья и не думают звать на помощь, стоят и с интересом ожидают продолжения событий. Я парализована ужасом, но понимаю безысходность ситуации (ощущения свои помню отчетливо).

На мое счастье, вернувшись с ночного дежурства и уже отоспавшаяся Зинка, в те времена еще медицинский работник, опершись локтями о подоконник и оттопырив («отклячив», как говаривала моя няня Аня Гордеева) зад, глядела в кухонное окно. В те дотелевизионные времена, когда смотреть в свободное от работы время было абсолютно не на что (разве что в стену), жильцы подолгу стояли у окон и наблюдали за тем, что происходит во дворе или на улице. Нет, Зинка не кинулась опрометью вытаскивать меня из люка, но не поленилась оборотиться в сторону нашей комнаты и зычно гаркнуть маме:

– Слышь, Ольга-то твоя в люк провалилась!

Большое ей за это спасибо! Мама выбежала и спасла меня. А калоша уплыла-таки в Москва-реку.

А вот еще один семейно-квартирный апокриф, родившийся благодаря своевременному вмешательству Ивана Ивановича Газеннова. Когда-то в гостях у нашего семейства бывали приличные люди. Постоянно заходил друг семьи, кудрявый красавец и пианист Эммануил Гроссман. Лауреат музыкальных конкурсов, Эмик концертировал с шести лет, будущее его казалось блестящим, но произошла трагедия – совсем молодым он заболел болезнью Паркинсона и умер не дожив до сорока.

Однажды Эмик пришел в гости вместе с учителем своим, Генрихом Густавовичем Нейгаузом. А в доме нашем жил превосходный бабушкин рояль. Это был не просто замечательный инструмент, подаренный бабушке ее отцом, но и своего рода золотой запас семьи. Не раз нависала над семьей угроза расставания с роялем (особенно острая во время войн), но до поры до времени роялю удавалось выживать, и бабушка продолжала на нем играть. И все же в конце 40-х, на крутом житейском витке, рояль продали. И остались от семейного «Бехштейна» прекрасные воспоминания да ветхая бумажонка:

Р. С. Ф. С. Р.

КОМИССИЯ ПО УЧЕТУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ

МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

при Отделе Народного Образов.

М. С. Р. Кр. и Кр. Д..

№ 20071.

8 Марта дня 1921 г.

МОСКВА.

Петровка, 2, бывш. Голофт. пасс.

Тел. 48 46, 1 24-20

ВРЕМЕННОЕ ОХРАННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО.

Музыкальный инструмент Рояль 107313. фирмы Бехштейн

принадлежащий Айзенман (Бари) Ольга Александр.

находящийся Остоженка Мансуровский пер. д. 5. кв. 2. состоит на учете в Комиссии по учету и распределению Музыкальных инструментов и согласно постан. Президиума Моск. Совдепа от 5/XI – 20 г. никакими другими учреждениями кроме Комиссии не может быть реквизирован и без разрешения Комиссии не может быть перевозим в другое помещение.

Настоящее охранное свидетельство имеет силу в течение 2-х месяцев со дня его выдачи.

Председатель Комиссии (неразборчиво)

Секретарь Погоржельский

А в тот давний довоенный вечер Генрих Нейгауз играл на нашем «Бехштейне» своего любимого Шопена. Надо думать, играл замечательно. Как вдруг разъяренный Иван Иванович, разбуженный громким и бессмысленным шумом, выскочил в одном исподнем из своей комнаты № 3, расположенной напротив нашей № 1, выхватил полено из поленицы, сложенной в коридоре (в квартире пользовались печным отоплением), и принялся поленом этим дубасить в дверь, требуя прекратить безобразие и дать людям покой. Свое требование Иван Иванович, конечно же, облек в некорректную форму.

Гостей и хозяев неожиданный эксцесс ничуть не удивил, он органично вписался в длинный ряд подобных – прошлых и будущих. Тем более что всему нашему дому известна была нелюбовь Ивана Ивановича к серьезной музыке. Еще в те времена, когда семейство Газенновых жило не в нашей квартире, а этажом выше, в квартире № 4, Иван Иванович неоднократно и недвусмысленно давал

понять это окружающим.

В семейном архиве хранится соответствующий документ, ибо в 1935 году дедушка мой исполнял обязанности председателя домового товарищеского суда. Вот оно, документальное свидетельство фобии, которой страдал Иван Иванович Газеннов:

В товарищеский суд ЖАКТ 'а 907 от Юрия Богословского (прож. кв. 4)

По роду своей работы – музыкально-композиторской деятельности – я принужден иногда по вечерам работать за роялем до 11, 12 часов. Мой сосед Газеннов после 10 часов вечера грубым стуком в стену вынуждает меня прекращать работу. Прошу товарищеский суд оградить меня от грубости соседа, разъяснив ему мое право в своей комнате работать, согласно постановления Моссовета, до 12 часов ночи. В течение уже нескольких лет, боясь грубых выходок соседа (были случаи, когда он врывается в комнату), я принужден прекращать занятия около 10 часов вечера, испытывая помимо большого ущерба в работе угнетенное состояние, что не может не отражаться на творческой работе.

7 янв. 35 г. Ю. Богословский

Не знаю, может, я и не права, но в конфликте Газеннова с Богословским я на стороне Ивана Ивановича. Утром композитор мог подольше поспать, а Иван Иванович отправлялся на работу в шесть часов.

После того как и Газенновы переехали в Черемушки, славный Нюркин муж Коля Ганин продолжал работать по соседству, в районном отделении милиции. Иногда, после очередной милицейской операции, заходил передохнуть, чайку попить. Однажды пришел запаренный, уставший, пожаловался, что очень сложная разборка была – пришлось утихомиривать разбушевавшихся сотрудников одного из африканских посольств. Дело-то простое, нехитрое, но очень уж неудобно эти африканцы устроены. Волосики у них коротенькие, курчавые, их, как наших, за космы не ухватишь, по лестнице не сволочешь. Пришлось за уши тащить. А уши у африканцев этих потные – из рук так и выскальзывают...

И все, все они уехали в Черемушки... А как хороши, как свежи были розы!

Марыхна

Переселившаяся к нам с третьего этажа Мария Мартыновна Недзельская казалась в те далекие времена смешной, назойливой и нелепой старухой. А сейчас вспоминаю ее с щемящим чувством и удивляюсь, как она выживала, на что жила – одна-одинешенька, без работы, без пенсии. До чего была беззащитна, беспомощна!

Давным-давно, при неведомых обстоятельствах, Мария Мартыновна покинула Польшу. Каким образом и когда очутилась она в Москве? Во времена коммунального нашего общежития никто и ничего о себе не рассказывал. Казалось, у людей не было прошлого. Каждый из наших соседей, даже самый ничтожный, хранил никогда и никем не разгаданную тайну. Годами живя бок о бок с множеством разнообразнейших персонажей, мы ничего не знали о том, что было с ними прежде, откуда они взялись, почему покинули родные места. Никто не рассказывал о своем детстве, о родителях, о дедушках и бабушках. А ведь наши квартирные монстры-гегемоны явились в Москву не от хорошей жизни. Они бежали из деревень от голода, от колхозов, а прошлое решили забыть или хотя бы скрыть от окружающих. Так и канули все они в вечность неразгаданными, неоткрывшимися, навсегда испуганными, с кляпом во рту.

Смутно мерещился в прошлом Марии Мартыновны муж, учитель танцев – фигура небывалая, фантастическая, не из нашей жизни. Тень его возникала изредка в воспоминаниях об огромной зале, о навощенном паркете, о мазурке... Вспоминая мужа, мазурку и зеркальный паркет, Мария Мартыновна привставала на цыпочки, изящно изгибалась, грациозно взмахивала руками и становилась похожа на птицу.

К российской действительности Мария Мартыновна адаптировалась плохо. Порусски говорила неважно, зато квартира охотно повторяла польские ее выражения.

– Яки пенкны квяты! – неизменно восклицали жильцы при виде любых цветов.

– Бардзо добже! Пшистко добже! – восхищаясь чем ни попадя.

Более всего Мария Мартыновна напоминала классную даму того образца, по которому кроились фильмы о тоскливой жизни дореволюционных детей. Серая юбка до пола, серый валик волос надо лбом, прямая спина, пресное лицо с поджатыми губами, длинноватым острым носом и маленькими зоркими глазками.

Соседи запросто звали ее Марыхна, фамильярничали, обращались на «ты» и постоянно подшучивали с разной степенью безобидности. В хорошую минуту, по заказу соседней и под поощрительное их похотывание, Мария Мартыновна исполняла слабеньким дребезжащим голоском невинно-сомнительный куплетик:

В магазине По

Продавали жо...

Не подумайте худого —

Желтые ботинки.

Мама жалела Марию Мартыновну, приглашала в гости, чем-нибудь угощала. И Мария Мартыновна старалась принести пользу нашей семье. Например, безуспешно пыталась научить меня хорошим манерам и красивой походке. Шаг должен был начинаться с носка. Сама она умела так ходить и серой летучей мышью скользила по коридору. Пробовала она приохотить меня и к специальным упражнениям, с помощью которых нос мой мог бы стать покороче и поизящнее. Но для этого нужно было особым образом ежеминутно тереть его, ни на минуту не забывая об упражнении, и потратить на это благое, но очень скучное дело годы и годы.

Мария Мартыновна владела одним-единственным ценным предметом – многоярусным, вроде бы даже серебряным сооружением – вместилищем для специй (к стыду своему, не знаю названия этого удивительного, не слишком актуального ныне предмета). Экзотическая вещь в преддверии католических праздников торжественно выносилась в кухню и разбиралась на множество составных частей. Хрустальные части отмывались и протирались до бриллиантового блеска, металлические чистились до молниевоего сверкания, а Мария Мартыновна ими гордилась.

На наших глазах случилось в жизни Марии Мартыновны чудо. Летом 1957 года, в вихре Московского фестиваля молодежи и студентов, в нашей квартире материализовался высокий блондин Станислав – внучатый племянник Марии Мартыновны, натуральный иностранец, варшавянин, явившийся в Москву в составе польской делегации. Забрехала призрачная надежда... Увы, ничего судьбоносного не произошло, мираж развеялся, но осталось воспоминание о пришествии белокурого пана в сером костюме.

С годами Мария Мартыновна становилась все более странной. Выходила из комнаты в длинной ночной рубашке и в слезах, сообщала, что получила из Польши письмо со страшным известием – утонул брат. Дрожащей рукой протягивала пожелтевший конверт, датированный июнем 1927 года. Наутро являлась радостная, с подробным описанием свадьбы племянницы. Свадьба действительно состоялась, но лет тридцать назад, и член фестивальной польской делегации Станислав как раз и являлся плодом этого брачного союза. Навещала Марию Мартыновну одна только Леокадия Яновна, курировавшая ее по католической линии. Католики не оставляли своих стариков без поддержки. Возможности их были мизерны, но все же...

Практичная и распорядительная Валентина Алексеевна Людаева учуяла в Марии Мартыновне опасность для безоблачного благополучия золотоволосой дочери своей Анжелики и определила старуху сначала в психиатрическую больницу, а потом в дом престарелых. Там и закончилась одинокая жизнь Марии Мартыновны. Навестив ее однажды, мама вернулась огорошенная, подавленная, убитая, обнаружив Марию Мартыновну в огромной палате, сидящей на железной койке среди множества других наголо обритых старушек. При всем своем мужестве на повторное посещение богадельни мама так и не решилась.

А однажды, поздней осенью, в квартиру вломилась бесцеремонная ватага под предводительством домоуправа Миронова. С двери Марии Мартыновны сорвали сургучную печать, растерзали скудное ее имущество в поисках драгоценностей, нашли мизерную записку дореформенных, вышедших из употребления денег, похватили подушки, прибор для специй, больше ничего полезного не нашли, наследили калошами и сапогами и убежали. Так мы узнали о смерти Марии Мартыновны.

Комнату ее после многомесячных мытарств удалось получить нам. Доломали полуразвалившуюся печку, сгнившие доски пола заменили новыми, прорубили второе окно, переведя комнату из вечно вечернего состояния в стабильно

сумеречное. Мне было пятнадцать, собственной комнаты не было ни у одной из моих подруг, и я зажила в ней с ощущением небывалого, сказочного счастья.

Одна из стен чудесной моей комнаты пребывала в вечной испарине. Весной и летом капли набухали, превращались в гроздь и стекали струйками и ручейками. Влажный комнатный климат пришелся мне по душе, и в мучительное лето 1972 года, посреди полыхавшего жаром, затянутого дымом подмосковных пожарищ города, нам с Женей дышалось легко. В ожидании рождения дочери Женя самоотверженно осушал стену, покрывал ее бесчисленными слоями олифы, но стена, как живая, продолжала набухать и сочиться.

Прошли годы, и случилось так, что после нашего отъезда из Мансуровского переуллка в комнате № 5 поселились две пестрые курочки и такой же петушок. Да-да, комната стала самым настоящим курятником – с клетками, гнездами, яйцами и петушиным пением. Случается в Москве и такая экзотика. А может быть, это куриная аспирантка Валя, уральская жительница, засеяла нашу квартиру особыми куриными семенами. Но это уже совсем другая история. А от Марии Мартыновны Недзельской остался и прижился в семье маленький сундучок, обшарпанный, с оторванной крышкой, но странно трогательный.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.me/vel-chinskaya_ol-ga/kvartira-2-i-ee-okrestnosti

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)